

## «ОТСЮДА И ДОСЮДА»

(Заметки публициста)

### I

В № 311 «Киевской мысли»<sup>1</sup> г. Номункулус<sup>2</sup> возвестил, что вся Россия разделилась на два лагеря: «Одни просто любят Толстого, другие — отсюда и досюда». У г. Номункулус'а вышло при этом, что люди более или менее передового образа мысли просто любят Толстого, между тем как охранители и реакционеры любят его лишь «отсюда и досюда». Я не принадлежу ни к реакционерам, ни к охранителям. Этому, надеюсь, поверит г. Номункулус. И тем не менее я тоже не могу «просто любить Толстого»; я тоже люблю его только «отсюда и досюда». Я считаю его гениальным художником и крайне слабым мыслителем. Больше того: я полагаю, что лишь при полном непонимании взглядов Толстого можно утверждать, как это делает г. Володин<sup>3</sup> в той же «Киевской мысли» (№ 310): «С Толстым радостно. Без Толстого страшно жить». По-моему, как раз наоборот: «жить с Толстым» так же страшно, как «жить», например, с Шопенгауэром. А если этого на замечает, в «простоте» любви своей к Толстому, нынешняя наша «интеллигенция», то мне кажется, что это — очень плохой знак. Прежде, скажем в эпоху покойного Н. Михайловского<sup>4</sup>, Толстого любили передовые русские люди именно только «отсюда и досюда». И это было гораздо лучше.

Я знаю, с этим согласятся теперь лишь очень немногие. Но что же делать? Если бы против меня высказались даже все передовые «интеллигенты» нынешней России, то я все-таки не мог бы думать иначе. Пусть меня объявят еретиком. Это не беда. Еще Лессинг вполне справедливо заметил: «Вещь, называемая еретиком, имеет свою очень хорошую сторону. Еретик — это человек, который *по крайней мере* хочет

смотреть своими собственными глазами». Конечно, еще недостаточно быть еретиком, чтобы ясно видеть. Тот же Лессинг не менее справедливо прибавляет: «Спрашивается только, хороши ли те глаза, которыми хочет смотреть еретик». С еретиком можно, а иногда даже должно спорить. Это так. Но все-таки не мешает иногда выслушать и еретика. Это тоже не подлежит сомнению.

Вот я и предлагаю поспорить со мною, например, г. Володину. Он говорит: «с Толстым радостно». А я возражаю: «нет, с Толстым страшно». Кто же прав? Об этом пусть судит читатель, которому я постараюсь разъяснить свой взгляд.

Само собою разумеется, что говоря: «с Толстым страшно», я имею в виду Толстого-мыслителя, а не Толстого-художника. С Толстым-художником тоже может быть страшно, но только не мне и вообще не людям моего образа мыслей; нам с ним, напротив, очень «радостно». А вот с Толстым-мыслителем нам действительно страшно. То есть, чтобы выразиться точнее, *было бы страшно, если бы мы могли «жить» Толстым-мыслителем.* К счастью, об этом не может быть и речи: наша точка зрения прямо противоположна точке зрения Толстого.

Толстой говорит о себе: «Я пришел ведь к вере потому, что помимо веры я ничего, наверное ничего не имею, не нашел, кроме погибели»\*.

Тут, как видите, заключается весьма серьезный довод в мою пользу. Человек, который проникся бы настроением Толстого, сильно рисковал бы не найти перед собой ничего, кроме погибели. А это в самом деле страшно. Правда, Толстой спасся от погибели верой. А в каком положении окажется человек, который, проникшись настроением Толстого, останется неудовлетворенным его верой? У такого человека будет только один выход: погибель, в которой, как это всем известно, нет ничего «радостного».

Каков был тот путь, который привел Толстого к его вере? По словам самого Толстого, он пришел к вере путем искания бога. И это искание бога было, говорит он, «не рассуждение, но чувство, потому что это искание вытекало не из моего хода мыслей, — оно было даже прямо противоположно им, — но оно вытекало из сердца»\*\*. Однако Толстой выражается неточно. На самом деле его искание бога вовсе не исключало рассуждения. Это доказывается, между прочим, следующими строками:

\* Л. Н. Толстой. Исповедь, изд. Парамонова, стр. 55<sup>5</sup>.

\*\* Там же, стр. 46<sup>6</sup>.

«Помню, это было раннею весной, я один был в лесу, прислушиваясь к звукам леса. Я прислушивался и думал все об одном, как я постоянно думал все об одном и том же эти последние три года. Я опять искал бога.

Хорошо, нет никакого бога, — говорил я себе, — нет такого, который бы был не мое представление, но действительность, такая же, как вся моя жизнь, — нет такого. И ничто, никакие чудеса не могут доказать такого, потому что чудеса будут мое представление, да еще неразумное.

«Но понятие мое о боге, о том, которого я ищу? — спросил я себя. — Понятие-то это откуда взялось?» И опять при этой мысли во мне поднялись радостные волны жизни. Все вокруг меня ожило, получило смысл. Но радость моя продолжалась недолго. Ум продолжал свою работу. «Понятие бога — не бог, — сказал я себе. — Понятие есть то, что происходит во мне, понятие о боге есть то, что я могу возбудить и могу не возбудить в себе. Это не то, чего я ищу. Я ищу того, без чего бы не могла быть жизнь». И опять все стало умирать вокруг меня и во мне, и мне опять захотелось убить себя»\*.

Это целый диспут с самим собой. Ну, а в диспуте нельзя обойтись без рассуждения. Не обошелся без него Толстой и там, где его мучительный спор с самим собою склонился к отрадному для него выводу:

«Что же такое эти оживления и умирания? Ведь я не живу, когда теряю веру в существование бога, ведь я бы уж давно убил себя, если бы у меня не было смутной надежды найти его. Ведь я живу, истинно живу только тогда, когда чувствую его и ищу его. Так чего же я ищу еще? — вскрикнул во мне голос. — Так вот он. Он то, без чего нельзя жить. Знать бога и жить — одно и то же. Бог есть жизнь»\*\*.

Но, конечно, не одно рассуждение привело Толстого к его вере. Его логические операции, бесспорно, совершались на основе сильного и неотвязного чувства, которое он сам характеризует следующими словами: «Это было чувство страха, сиротливости, одиночества среди всего чужого и надежды на чью-то помощь»\*\*\*.

Только это чувство и объясняет нам, каким образом Толстой мог не заметить слабой стороны своего рассуждения. В самом деле. Из того, что я живу только тогда, когда верю в существование бога, еще не следует, что бог существует: из этого следует только то, что я сам не могу существовать без

\* Л. Н. Толстой. Исповедь, изд. Парамонова, стр. 48<sup>7</sup>.

\*\* Там же, стр. 48<sup>8</sup>.

\*\*\* Там же, стр. 46<sup>9</sup>.

веры в бога. А это обстоятельство может быть объяснено воспитанием, привычками и т. п. Толстой сам говорит:

«И странно, что та сила жизни, которая возвратилась ко мне, была не новая, а самая старая,— та самая, которая влекла меня на первых порах моей жизни. Я вернулся во всем к самому прежнему, детскому и юношескому. Я вернулся к вере в ту волю, которая произвела меня и чего-то хочет от меня; я вернулся к тому, что главная и единственная цель моей жизни есть то, чтобы быть лучше, то есть жить согласнее с этой волей; я вернулся к тому, что выражение этой воли я могу найти в том, что в скрывающейся для меня дали выработало для руководства своего все человечество, то есть я вернулся к вере в бога, в нравственное совершенствование и в предание, передававшее смысл жизни. Только та и была разница, что тогда все было принято бессознательно, теперь же я знал, что без этого я не могу жить»\*.

Толстой напрасно считает странным то обстоятельство, что возвратившаяся к нему сила жизни «была не новая, а самая старая» детская вера. Странного тут ничего нет. Люди нередко возвращаются к своим детским верованиям; для этого необходимо только одно условие — сильный след, оставленный в душе такими верованиями. Столь же напрасно Толстой говорит о себе:

«Судя по некоторым воспоминаниям, я никогда и не верил серьезно, а имел только доверие к тому, чему учили, и к тому, что исповедовали предо мной большие; но доверие это было очень шатко»\*\*.

Нет, память изменила Толстому. По всему видно, что детские верования чрезвычайно глубоко проникли в его душу\*\*\*, и если он по своей впечатлительности легко поддавался потом влиянию неверующих товарищей, то влияние это осталось крайне поверхностным\*\*\*\*. Впрочем, в другом месте своей «Исповеди» Толстой сам говорит, что христианские истины всегда были близки ему\*\*\*\*\*. Это несомненно, по крайней

\* Л. Н. Толстой. Исповедь, изд. Парамонова, стр. 49<sup>10</sup>.

\*\* Там же, стр. 3<sup>11</sup>.

\*\*\* «Воспитанный в патриархально-аристократической и по-своему религиозной среде,— рассказывает биограф Толстого г. П. Бирюков,— Лев Николаевич в детстве своем был религиозен» («Л. Н. Толстой, Биография». Составил П. Бирюков, т. I, стр. 110)<sup>12</sup>.

\*\*\*\* Г-ну П. Бирюкову это представляется так: «Но, конечно, эта рационалистическая критика не могла тронуть основ души его. Эти основы выдержали страшные житейские бури и вывели его на истинный путь» (там же, стр. 111)<sup>13</sup>.

\*\*\*\*\* «Исповедь», стр. 41<sup>14</sup>.

мере в том ограниченном смысле, что Толстому всегда была близка основа не только христианского, но и всякого вообще религиозного мирозерцания: анимистический взгляд на отношение «конечного» к «бесконечному». Вот чрезвычайно убедительный пример. Мы уже знаем, что, начав искать бога, Толстой переживал тяжелые страдания в те минуты, когда его рассудок отвергал, одно за другим, известные ему доказательства бытия божия. Тогда он чувствовал, что жизнь его «останавливается», и тогда он снова и снова принимался доказывать себе, что бог существует. Как же доказывать? А вот как:

«Но опять и опять, с разных сторон, я приходил к тому же признанию, что не мог же я без всякого повода, причины и смысла явиться на свет, что не могу я быть таким выпавшим из гнезда птенцом, каким я себя чувствовал. Пускай я, выпавший птенец, лежу на спине, пищу в высокой траве, но я пищу оттого, что знаю, что меня в себе выносила мать, высиживала, грела, кормила, любила. Где она, эта мать? Если забросили меня, то кто же забросил? Не могу я скрыть от себя, что любя родил меня кто-то. Кто же этот кто-то? — Опять бог»\*.

Так рассуждают все религиозные люди, совершенно независимо от того, верят ли они в одного бога или же в нескольких. Главная отличительная черта подобного рассуждения состоит в его полнейшей логической несостоятельности: оно предполагает доказанным именно то, что требуется доказать,— существование бога. Раз признав существование бога и раз представив себе бога по своему собственному образу и подобию, человек затем уже без всякого труда объясняет все явления природы и общественной жизни. Еще Спиноза очень хорошо сказал: «Люди обыкновенно предполагают, что все вещи в природе, подобно им самим, действуют для какой-нибудь цели, и даже за верное утверждают, что и сам бог направляет все к известной определенной цели, ибо они говорят, что бог сотворил все для человека, а человека сотворил для того, чтобы он почитал его»\*\*. Это как раз то, что предполагается у Толстого: телеология (точка зрения целесообразности). Бесполезно было бы распространяться о том, что объяснения, до которых доходят люди, стоящие на телеологической точке зрения, на самом деле ровно ничего не объясняют и, как карточные домики, разлетаются от первого при-

\* «Исповедь», стр. 47<sup>15</sup>.

\*\* Спиноза, Этика, стр. 44<sup>16</sup>.

косновения серьезной критики. Но необходимо отметить, что Толстой не мог или не хотел понять этого. Жизнь представлялась ему возможной только тогда, когда он становился на телеологическую точку зрения: «Как только я сознавал,— говорит он,— что есть сила, во власти которой я нахожусь, так тотчас же я чувствовал возможность жизни»\*. Понятно почему: смысл жизни определялся в этом случае волею того существа, во власть которого отдавал себя Толстой. Оставалось слушаться и не рассуждать. Толстой так и говорит:

«Жизнь мира совершается по чьей-то воле — кто-то эту жизнью всего мира и нашими жизнями делает свое какое-то дело. Чтобы иметь надежду понять смысл этой воли, надо прежде всего исполнить ее, делать то, чего от нас хотят. А если я не буду делать того, чего хотят от меня, то и не пойму никогда и того, чего хотят от меня, а уж тем менее — чего хотят от всех нас и от всего мира»\*\*.

## II

Чего же хочет от всех нас и от всего мира «чья-то воля»? Толстой отвечает: «Воля... пославшего есть разумная (добрая) жизнь всего мира. Стало быть, дело жизни есть внесение истины и мир»\*\*\*. Иначе сказать: «чья-то воля» требует от нас служения добру и истине. Еще иначе: «чья-то воля» является для нас единственным источником истины и добра. Толстой думает, что если бы не было «чьей-то воли», направляющей людей к добру и истине, то они погрязли бы в зле и в заблуждении. Это то, что у Фейербаха называется опустошением человеческой души. Все, что есть в ней хорошего, отнимается от нее и записывается на счет «чьей-то воли», создавшей человека, равно как и весь остальной мир. Толстой совершенно опустошает человеческую душу, говоря, что «все доброе, что есть в человеке,— только то, что в нем божеского». Вот я и спрашиваю гг. Номинculus'a, Володина и всех тех, которые разделяют их взгляд на Толстого: неужели не «страшно жить» с человеком, предающимся подобному опустошению человеческой души? И я буду утверждать, что очень страшно, до тех пор, пока мне не докажут противного.

Впрочем, я неверно выразился, сказав, что Толстой *предавался* опустошению человеческой души. Чтобы выразиться точнее, надо сказать так: Толстой предполагал человеческую

\* «Исповедь», стр. 47<sup>17</sup>.

\*\* «Исповедь», стр. 45<sup>18</sup>.

\*\*\* Там же, стр. 47<sup>19</sup>.

душу пустою и старался наполнить ее добрым содержанием. Не находя источника в ней самой, он апеллировал к «чьей-то воле». Как же возникло это постоянно встречающееся у него предположение о пустоте человеческой души?

Ставя этот вопрос, я прошу читателя вспомнить сказанное мною выше о том, что Толстой пришел к вере путем известного *рассуждения*, поддержанного известным *чувством*. *Рассудочная* сторона этого процесса теперь уже достаточно ясна для нас. Легко понять, что, усвоив себе точку зрения телеологии, человек поступил бы непоследовательно, если бы продолжал смотреть на себя как на самостоятельный источник нравственности. Но мы уже знаем, что рассуждение, приводящее к телеологии, не выдерживает серьезной критики. Что же мешало Толстому заметить слабую сторону этого рассуждения? Я отчасти уже ответил и на этот вопрос, сказав, что детские верования глубоко залегли в душе Толстого. Теперь мне хочется взглянуть на дело с другой стороны. Мне хочется определить, как создалось то *настроение* Толстого, благодаря которому он ухватился за детские верования, как за единственный якорь спасения, закрыв глаза на их неосновательность. Тут я опять обращаюсь к его «Исповеди».

Рассказав, каким образом он остался в стороне от идейного движения шестидесятых годов и каким образом жизнь его сосредоточилась «в семье, в жене и в детях, и потому в заботах об улучшении средств к жизни», Толстой сообщает, что на него стали находить тяжелые минуты уныния и недоумения. «Среди моих мыслей о хозяйстве, которые очень меня занимали в то время,— говорит он,— мне вдруг приходил в голову вопрос: «Ну, хорошо, у тебя будет 6000 десятин, в Самарской губернии — 300 голов лошадей, а потом?..» И я совершенно опешивал и не знал, что думать дальше. Или, начиная думать о том, как я воспитаю детей, я говорил себе: «Зачем?» Или, рассуждая о том, как народ может достигнуть благосостояния, я вдруг говорил себе: «А мне что за дело?» Или, думая о той славе, которую приобретут мне мои сочинения, я говорил себе: «Ну, хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире,— ну, и что ж?..» И я ничего не мог ответить»\*.

\* «Исповедь», стр. 12—13<sup>20</sup>. В другом месте он выражается еще более решительно. «Важно то, чтобы признать бога хозяином и знать, чего он от меня требует, а что он сам такое и как он живет, я никогда не узнаю, потому что я ему не пара. Я работник,— он хозяин». («Спелые колосья». Сборник мыслей и афоризмов, извлеченных из частной переписки Л. Н. Толстого. Составил с разрешения автора Д. Р. Кудрявцев<sup>21</sup>, стр. 114).

Что же мы видим? Забота о личном счастье не удовлетворяет Толстого, забота о народном благосостоянии совсем не увлекает его («а мне что за дело?»). Получается душевная пустота, в самом деле устраняющая всякую возможность жизни. Нужно во что бы то ни стало наполнить ее. Но чем? Или заботой о личном благосостоянии, или заботой о благосостоянии народа, или, наконец, и той и другой вместе. Но мы видели, что забота о личном благосостоянии не удовлетворяла Толстого, забота о благосостоянии народа не увлекала его; поэтому и из сочетания этих двух забот ничего не могло выйти, кроме нуля. А это значит, что ни в личной, ни в общественной жизни не было ничего такого, что могло бы заполнить мучившую нашего великого художника душевную пустоту. Поневоле ему пришлось повернуться от земли к небу, то есть искать в чьей-то «чужой воле» необходимого ответа на вопрос: «зачем я живу?» В этом и заключается разгадка того, что Толстой не заметил несостоятельности своих детских верований. Точка зрения телеологии оказалась неизбежной в его положении. *Он не сам опустошил свою душу; ее опустошила окружавшая его обстановка.* А когда он почувствовал ее пустоту и захотел заполнить ее каким-нибудь содержанием, то по указанной причине он не мог найти другого содержания, кроме того, которое шло сверху, диктовалось «чьей-то волей». В этом все дело.

«Радостно» ли жить с человеком, который ни в личной, ни в общественной жизни не находит ничего, способного захватить и увлечь его? Не только не «радостно», а прямо «страшно». Да ведь и ему самому жить было именно страшно, а не радостно. Радостно было жить с теми современниками Толстого, которые говорили себе словами известной некрасовской песни:

Доля народа,  
Счастье его,  
Свет и свобода  
Прежде всего<sup>22</sup>.

Но Толстой был настроен совершенно иначе. Мысль о народном счастье и о народной доле не имела над ним силы; ее отгонял равнодушный вопрос: «а мне что за дело?» Вот почему он был и остался в стороне от нашего освободительного движения. И вот почему люди, сочувствующие этому движению, не понимают или самих себя, или Толстого, когда называют его «учителем жизни». Беда Толстого в том и заключалась, что он не мог учить жизни ни себя, ни других.

Толстой был и до конца жизни остался большим баринком. Прежде этот большой барин спокойно пользовался теми жизненными благами, которые доставляло ему его привилегированное положение. Потом,— и в этом сказалось влияние на него людей, думавших о счастье народа и о доле его,— он пришел к тому убеждению, что эксплуатация народа, служащая источником этих благ, безнравственна. И он решил, что «чья-то воля», давшая ему жизнь, запрещает ему эксплуатировать народ. Но ему не пришло в голову, что недостаточно самому воздержаться от эксплуатации народа, а нужно содействовать созданию таких общественных отношений, при которых исчезло бы деление общества на классы, а следовательно, и эксплуатация одного класса другим. Его учение о нравственности осталось чисто отрицательным: «Не сердись. Не блуди. Не клянись. Не воюй. Вот в чем для меня сущность учения Христа»\*. И эта отрицательная нравственность была в своей односторонности несравненно ниже того положительного нравственного учения, которое выработалось среди людей, «прежде всего» ставящих «счастье народа» и «долю его». А если теперь даже эти люди готовы видеть в Толстом своего учителя и свою совесть, то для этого есть только одно объяснение: тяжелая жизненная обстановка покачнула в них веру в самих себя и в свое собственное учение. Разумеется, очень жаль, что так случилось. Но будем надеяться, что скоро опять будет иначе. В самом увлечении Толстым слышится очень явственный намек на это. Я думаю, что чем больше будет крепнуть это увлечение, тем ближе будет от нас та минута, когда люди, не довольствующиеся отрицательной нравственностью, увидят, что их учителем нравственности Толстой быть не может. Это представляется парадоксом, но это действительно так.

Мне скажут: однако смерть Толстого взволновала весь цивилизованный мир. Я отвечу: да, но посмотрите, например, на Западную Европу, и вы сами увидите, кто «просто любит» там Толстого, и кто любит его «отсюда и досюда». «Просто любят» его (с большей или меньшей степенью искренности и интенсивности) идеологи высших классов, то есть те, которые сами готовы удовольствоваться отрицательной нравственностью и которые, не имея широких общественных интересов, стремятся наполнить свою душевную пустоту разными религиозными исканиями. А «отсюда и досюда» любят Толстого те сознательные представители трудящегося населения, кото-

\* «Спелые колосья», стр. 216<sup>23</sup>.

рые не довольствуются отрицательной нравственностью и которые не имеют никакой нужды мучительно доискиваться смысла своей жизни, так как они давно уже «радостно» нашли его в движении к великой общественной цели.

А «откуда» и «докуда» именно любят Толстого люди этого второго разряда?

На это легко ответить. Люди этого второго разряда ценят в Толстом такого писателя, который хотя и не понял борьбы за переустройство общественных отношений, оставшись к ней совершенно равнодушным, но глубоко почувствовал, однако, неудовлетворительность нынешнего общественного строя. А главное — они ценят в нем такого писателя, который воспользовался своим огромным художественным талантом для того, чтобы наглядно, хотя, правда, только эпизодически, изобразить эту неудовлетворительность.

Вот «откуда» и вот «докуда» любят Толстого действительно передовые люди нашего времени.

## «ОТСЮДА И ДОСЮДА»

(Заметки публициста)

Впервые опубликованы в декабре 1910 г. в первом номере легальной большевистской газеты «Звезда» (СПб., 1910—1912).

<sup>1</sup> «Киевская мысль» (Киев, 1906—1918) — политическая и литературная газета буржуазно-демократического направления; выходила ежедневно; изд.: Р. К. Лубковский, Ф. И. Богданова. Издание имело широкое распространение в юго-западном регионе страны.

В ноябрьских номерах за 1910 г. газета поместила серию откликов на смерть Л. Н. Толстого, которые послужили поводом для изложения Плехановым своего отношения к нравственным исканиям великого русского писателя.

<sup>2</sup> «*Notunculus*» («простачок» — лат.) — псевдоним литератора Д. И. Заславского.

<sup>3</sup> *Володин* — литературный псевдоним юриста В. И. Бошко.

<sup>4</sup> Упомянув видного народника и публициста Н. К. Михайловского, общественно-литературная деятельность которого была особенно заметна в 70—90-х гг. XIX в., Плеханов, очевидно, имеет в виду эпоху народнической интеллигенции.

В отношении Н. К. Михайловского и других народников к Л. Н. Толстому особенно ярко проявлялось восхищение литературным талантом крупнейшего писателя-реалиста и неприятие его философско-религиозных взглядов.

<sup>5</sup> Толстой Л. Н. Исповедь (Вступление к ненапечатанному сочинению) (1881) // Полн. собр. соч. Т. 23. С. 52.

<sup>6</sup> Там же. С. 43.

<sup>7</sup> Там же. С. 45.

<sup>8</sup> Там же. С. 45—46.

<sup>9</sup> Там же. С. 43—44.

<sup>10</sup> Там же. С. 46.

<sup>11</sup> Там же. С. 1.

<sup>12</sup> Плеханов цитирует следующее изд.: Толстой Л. Н.: Биография / Сост. П. И. Бирюков. С приложением воспоминаний и писем Л. Н. Толстого: В 2 т. М., 1906—1908. Последнее изд. см.: Бирюков П. И. Биография Льва Николаевича Толстого: В 3 т. М.; Пг., 1923. Т. 1. С. 45.

<sup>13</sup> Там же. С. 46.

<sup>14</sup> См.: Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 23. С. 38.

<sup>15</sup> Там же. С. 44.

<sup>16</sup> Спиноза Б. Избр. произв. М., 1957. Т. 1. С. 395.

<sup>17</sup> Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 23. С. 44.

<sup>18</sup> Там же. С. 42.

<sup>19</sup> В тексте «Исповеди», опубликованном в Полном собрании сочинений Л. Н. Толстого, эти слова отсутствуют.— Ср.: Т. 23. С. 46.

<sup>20</sup> Там же. С. 11.

<sup>21</sup> Сборник «Спелые колосья», из которого здесь и далее цитирует Плеханов, печатался в Женеве (изд. М. К. Элпидина) и состоял из четырех выпусков, выходявших в разные годы (1894—1896); с тех пор не переиздавался. Сборник включал в себя отрывки из писем (без указаний адресатов) и дневников Л. Н. Толстого, помещенные по тематическому принципу; в последний раздел вошло также несколько статей писателя. Об отношении Л. Н. Толстого к этому изданию можно судить по его письму к Д. Р. Кудрявцеву (см. примеч. 9 на с. 473).

Поскольку справочный аппарат и комментарии в сборнике отсутствуют, определить источник текста для отсылки читателя к Полному собранию сочинений Л. Н. Толстого удалось не везде.

<sup>22</sup> Некрасов Н. А. Кому на Руси жить хорошо // Полн. собр. соч. и писем. Т. 5. С. 224.

<sup>23</sup> Из письма Л. Н. Толстого к М. А. Энгельгардту, декабрь 1882 — январь 1883.— Ср.: Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 63. С. 118.

## КАРЛ МАРКС И ЛЕВ ТОЛСТОЙ

Впервые опубликована в большевистской газете «Социал-демократ» (Париж — Женева, 1908—1917; центральный орган РСДРП, выходявший нелегально под руководством В. И. Ленина) в 1911 г. (№ 19/20, 13/26.).

<sup>1</sup> Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. Т. 10. С. 279.

<sup>2</sup> Речь идет о террористической акции эсера Е. Созонова, который 15 июля 1904 г. взрывом бомбы убил царского министра внутренних дел В. К. Плеве. Раненный при взрыве Созонов был арестован и впоследствии сослан на каторгу. Волна сочувствия к Е. Созонову прокатилась вновь в конце 1910 г. в связи с известием о его самоубийстве в каторжной тюрьме.

<sup>3</sup> «Наша заря» (Пб., 1910—1914) — журнал, руководимый А. Н. Потресовым; орган меньшевиков-ликвидаторов, которых объединяла в основном платформа ликвидации нелегальной социал-демократии.

В. И. Ленин, неоднократно выступавший с резкой критикой статей этого журнала, писал о его сотрудниках, постоянно «оговаривавших» свое несогласие по отдельным вопросам с другими членами редакции, что «все они вместе согласны только в том, что они не согласны с Плехановым и что он клеветнически обвиняет их в ликвидаторстве...». — (См.: Ленин В. И. Герои «оговорочки» // Полн. собр. соч. Т. 20. С. 94—95).

<sup>4</sup> «Sozialistische Monatshefte» («Социалистический ежемесячник») — журнал, издавался в Берлине в 1897—1933 гг.; главный орган оппортунистов германской социал-демократии и один из органов международного оппортунизма.

<sup>5</sup> Плеханов имеет здесь в виду свою работу «Основные вопросы марксизма» (1908). — См.: Плеханов Г. В. Избр. философ. произв. Т. 3. С. 125—126.